

Охота



Страсти человеческие

Сборник
Охота

«Спорт»

2016

ББК 47.2

Сборник

Охота / Сборник — «Спорт», 2016 — (Страсти
человеческие)

ISBN 978-5-906131-83-6

Русские писатели – об охоте.

ББК 47.2

ISBN 978-5-906131-83-6

© Сборник, 2016
© Спорт, 2016

Содержание

Егор Дриянский	6
Записки мелкотравчатого. Отрывок	6
Лев Толстой	22
Война и мир. Отрывок	22
Конец ознакомительного фрагмента.	34



Охота Сборник

Серия
«СТРАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ»

Руководители проекта
Валерий ШТЕЙНБАХ, Юлия ШАМШАДИНОВА

Оформление
Филипп БАРБЫШЕВ

В книге использованы репродукции картин и рисунков русских и зарубежных художников XIX – начала XX века.

Егор Дриянский

Записки мелкотравчатого. Отрывок



I

Отъезд. – Проказы лешего. – Удачное salto mortale. – Картина ночлега охотников. – Бацов и Петрунчик. – Мелкотравчатые. – Котловина. – Гоньба. – Волк и Чаус. – Клинское. – Обед. – Савелий и Красотка.

«С волками жить – по-волчьи выть», – говорит пословица. Все пословицы я уважаю за тот широкий смысл, который лежит в их основании, а значение последней как нельзя лучше оправдалось на мне самом.

Жил я долго в таком благодатном месте, куда с каждой весной прилетало множество дичи, в просторных полях водилась пропасть зайцев, а в болотах и заводях выплаживался выводками красный зверь. Все соседи мои, за редким исключением, были страстные охотники: глядя на них, и я завел своры две борзых и мало-помалу научился выть по-волчьи, следить заячью тропу по пороше и с первой сметки отличать в жирах след на логово, добыть лису по нарыску и прочее, и прочее. Одним словом, в короткое время я, как говорится в комедии, «дошел до степеней известных», или же, как выражались старые сутяги, стал «в роде своем не последний».

Как все это сделалось и какими судьбами я превратился из простого смертного в образ мелкотравчатого, разъяснить того не умею. Рассуждая о том иногда сам с собой, я припоминаю те впечатления, которые сопровождали меня в начале моего поприща, и, чтобы не забыть их совсем, записываю в том виде, как представляет их еще не изменившая мне память.

Однажды, сидя в просторном зале за обеденным столом у графа Атукаева, в кругу двадцати человек общих соседей – псовых охотников, я, как страстный ружейник, заспорил горячо о преимуществах ружейника перед борзятником. Двадцать голосов самой жаркой

оппозиции не в силах были поколебать моих в том убеждений. Спор, доходивший подчас до неистовых возгласов и стукотни кулаком по столу, кончился далеко за полночь, уже во время ужина; кончили тем, что я дал слово хозяину отправиться с ним на всю осень в отъезд и присутствовать там в качестве наблюдателя.

Срок для съезда в условленном месте был не за горами, а потому, дождавшись назначенного дня и уложив свой дорожный скарб в тележку, я тронулся в путь.

До места первого ночлега нашего, под открытым небом, следовало проехать верст тридцать. Времени в запасе у меня было много, а потому, не рискуя опоздать, я завернул по пути к одному из помещиков на чашку чая, и вместо того, чтоб пробыть у него, как намеревался, не больше часа, волею-неволею я должен был разыграть пульку и досидел до десяти часов вечера. Взглянув на часы, я заторопился и, не вникая никаким убеждениям, решился ехать. Мы распрощались.

Два человека, держа каждый по свечке в руке, открывали мне путь по крутой и высокой лестнице; добравшись кое-как до последней ступеньки, я невольно ахнул: отворенная настежь дверь нарисовала моему, вдруг притупившему, зрению картину самого темного, мокрого и холодного погребка. На вершок от носа, кроме мрака, пахнувшего мне в лицо чем-то неприветливым, ничего не было видно. Одну свечу задуло тотчас. Наконец, посредством другой, выставленной напоказ ветру, в вытаращенных глазах моих мелькнуло на мгновение пол-обода переднего колеса и половина хвоста левой пристяжной. Остальное пожирал мрак.

– Игнатка, ты тут? – спросил я, двинувшись шаг вперед и махая руками по воздуху.

– Здесь! – отвечал Игнатка, и по звуку этого длинного и сухого «здесь» я тотчас смекнул, что лицо Игнатки было живая копия с темноты и погоды.

– Как же? Десять верст – не близко. Как мы доедем?

– Авось... выедем... аглядимся...

Я отыскал ощупью кузов тележки; большая капля дождя упала мне на нос; пристяжная встрепенулась и загремела бляхами; свечка погасла. Я сел.

Выехав со двора, нужно было повернуть тотчас направо и спускаться по излучистому пригорку, окаймленному с одной стороны садовым тыном, а с другой – отвесною водомоинной, которая, расширяясь постепенно, – спускалась вместе с этим узким проездом к плотине, пересекавшей большой пруд. Эта дорога и днем, как то известно и памятно было всем и каждому, считалась не из лучших. Дело вначале пошло у нас очень степенно, хотя по частому трясению головы коренного битюга я нехотя уразумел, что он, видимо, терял охоту к солидному отправлению своей должности.

Наконец он заблагорассудил пуститься рысцой: схватясь обеими руками за грядки тележки, я не успел еще порядочно одуматься, как одна из пристяжных вдруг скрылась из глаз; раздалось громогласное: «Тпррру!» Пара остановилась. Игнатка, кряхтя, охая и причитывая что-то, полез с козел. По поверке оказалось, что она попала в яму, из которой мужики роют глину. Употребя около получаса на устройство оборванного валька и упряжи, мы, наконец, благополучно очутились на другом конце плотины.

– Не вернуться ли, Игнатка? Судя по началу, нам не скоро добраться до места!

– Авось, теперь как-нибудь... Штоп им тут, окаянные... дуй вас горой!.. Середь езду глину роют... И барин-то у них, согрешил грешный... Право, ну! Эхма!.. Доехать бы...

Все это причитывание сопровождалось приличным количеством эхов, вздохов и покрываний, пока Игнатка усаживался и подбирал вожжи; наконец послышалось одно из невыразимых междометий и последующее затем: «Э-з-бо-гом!», и лошади побежали рысью.

Прить эта, однако же, продолжалась недолго; по судорожному встряхиванью и несколько не усладительной качке экипажа неминуемо следовало прилепиться к довольно основательной мысли, что мы прогуливаемся вовсе не по дороге; после изрядного толчка

следовало неизбежное: «Тпрру!» и немедленное отправление Игнатки для отыскания более эластичного пути.

Оставшись один, я от безделья начал приспособлять свое тупое зрение к сказанному Игнаткой «аглядимси». Успех был так велик, что я увидел дугу; лошади стушевывались с грунтом. Минут двадцать прошло в частых переключках; из причитываний, какими они сопровождались, я вывел заключение, что мы, «без сумления», обойдены лешим.

На горизонте мгновенно блеснула и погасла искорка огня и заронила в мою голову частицу светлого соображения.

«Если этот блеск из кабинета, – думал я, – то наш путь лежит налево; если же из передней, то следует круто повернуть назад».

– Барин, а барин! Мы не туда едем, – сказал Игнатка, подойдя ко мне на голос.

– Верю, мой милый! И даже верю, что мы теперь вовсе никуда не едем, а преспокойно стоим на месте.

– Как же быть-то?

На этот раз глагол «быть» терял свою вспомогательную силу.

– Надо найти дорогу и ехать по ней, – отвечал я после короткого раздумья.

– Вон там, влево, дорога есть, да, видно, не наша.

– Коли есть, так она и наша.

Вздыхая и причитывая, Игнатка вел коренную под уздцы; саженой двести продолжалась качка, наконец колеса покатались плавно; стало заметно, что мы переменили направление: мелкий, сыпучий дождик увлаживал мой правый бок. С помощью «аглядимси» я предался наслаждению созерцать Игнатку; в непрерывном поклонении дороге, то направо, то налево, часа два времени протекло незаметно; лошади несколько раз порывались бежать рысью, но междометия Игнатки и вожжи мешали их усердию; наконец раздалось новое: «Тпррру!» – и коренная уперлась в межевой столб. По тщательном осмотре оказалось, что мы стоим на распутье трех дорог. Не желая получить вместо одного три вопроса вдруг, я обратился первый к Игнатке:

– Как думаешь, где мы?

– Иде это мы? Атцы мои!.. Ах, дуй те горой!.. Куда ж теперь? – было ответом.



Вскоре Игнатка снова затянул: «Э-з-богом!» – и лошади пустились трусцой по неизвестному всем нам пути.

Дождик начал переставать: я накрыл голову мокрым воротником шинели, решаясь ни о чем не думать, но час времени прошел по пустому. Стало скучно.

– Игнатка, спой что-нибудь! Ты-таки мастер.

– Эх, сударь, грех-то какой! И где водится, чтоб в ефтакie разы кто стал песни петь. Ну, неравен случай, как с дядей Никифором... Ну, как не приведи... да вот... с нами крестная сила!.. – Игнатка поспешно начал креститься.

Впереди нас, казалось невдалеке, вдруг заблестало несколько отдельных огоньков, все они как будто были в движении, некоторые из них светились очень ярко и отбрасывали искры, другие были слабее, но перед ними двигались какие-то неясные фигуры и тени. Полагая, что эта перестановка происходила от движения нашего экипажа, я велел остановиться, но сумятица все-таки продолжалась, всего же страннее было видеть то, как один из этих огоньков вдруг исчезал, и на месте его появлялся другой, гораздо ярче и пламеннее, и вслед за тем снова начиналось передвижение.

– Э-ва! Расплясались! Что ж, сударь, куда теперь ехать прикажете?

– Ступай прямо на освещение.

Вместо должного исполнения Игнатка обернулся и посмотрел мне в глаза.

– Говорят тебе: ступай!

– Барин, а барин! Неужто вы занапрасно хотите душу губить?

– Дурак, где есть огонь, там, наверное, если не тепло, то сухо. Пошел прямо!

Вздыхнув глубоко, Игнатка повиновался. Несмотря на близость освещения, мы ехали очень долго, то спускаясь в лощины, то поднимаясь на бугры, по мере приближения нашего к этому освещению, оно слабело и погасало; не желая потерять из вида и последнего из этих светочей, я велел свернуть с дороги и ехать прямо; после мучительного переезда по пашне мы выбрались на луговину и очутились у опушки леса. Пропутав довольно долго между порубей и кочек, мы снова попали на дорогу, которая повела нас вдоль опушки. Рассчитывая по месту и времени, я был вполне уверен, что мы находились вблизи виденного

нами огня: в воздухе был слышен запах дыма и копоти, и сквозь густую кущу деревьев блеснула синеватая искорка угасавшего огня; но в ту минуту, как я намеревался остановиться для освидетельствования этой надежды на просушку, сонная чаща, казалось, пробудилась. В одно мгновение послышался звон железа, шум, треск, лай и рев огромной стаи псов, и вместе с тем вся эта орава, казалось, со всею кущею берез, дубов и осин, рушилась прямо на нас. Более я ничего не взвидел, потому что в это время раздался неистовый крик Игнатки, и лошади во всю прыть помчали нас снова на кочковатый луг. Уцепившись крепко за тележку, я несея как стрела; кувыркаясь со стороны на сторону, бросая вожжи и закрыв лицо руками, Игнатка при каждом толчке прыгал передо мною, как эластический мяч. Раздался один из самых сокрушительных ударов о пень, тележка крикнула, Игнатка прыгнул выше обыкновенного, и в то же мгновение вместо его заплясала передо мною дуга. Склонившись набок, я промчался еще несколько сажень вперед. Наконец последовал отчаянный скачок вниз, дуга скрылась, подо мной что-то грохнуло, блеснуло, я щелкнул зубами и очутился верхом на пристяжной. «Аглядевшись», я увидел сверху целую стаю собак: все они, казалось, не решались приблизиться ко мне по причине крутого спуска. Вскоре послышалось хлопанье арапников, и какие-то сиповатые голоса кричали: «Атрыш! К нему! В стаю!» Вслед за тем между собаками появились две длинноватые тени, вроде человеческих.

По пересылке изрядного количества вопросов пунктов, сверху вниз и снизу вверх, две тени тотчас превратились в Сергея и Васюку, двух смиренных выжлятников {помощники ловчего} графа Атукаева.

Вскоре я вышел на сушу и с помощью выжлятников и прибывших на голос их двух псарей прежде всего пустился в розыски. Все оклики и призывы наши оставались без ответа. Вскоре, однако же, мы увидели среди луга четырех гончих, которые что-то обнюхивали. Мы пошли туда. Поместясь между двух мягких кочек, Игнатка лежал вверх носом и смотрел испуганными глазами. Только мой голос способен был вызвать его из этой немой созерцательности. Сложив все доказательства воедино, мы наконец привели его в чувство, но убеждение в том, что мы были обойдены лучшим, он дал себе клятвенное обещание сохранить «по конец гроба жизни» и отправился вытаскивать лошадей из тины.

Между тем огни запылали снова; я подошел к одному из костров и вынул из кармана часы; стрелка показывала три. После часов глазам моим предстали три огромные фуры, такой емкости и величины, что каждая из них способна была поглотить самую многочисленную семью правоверного Кутуфты.

Одна из этих громад была на рессорах, длиннее прочих и по множеству круглых окошек, прорезанных в обоих боках кузова, являла собою собачью колесницу. Кроме этих великанов экипажной породы, под сенью их стояли дрожки и другие крытые экипажи и, сверх того, смиренные русские телеги, вокруг которых, пятками и десятками, стояло около шестидесяти лошадей.

Обрамленная с обеих сторон двумя отрогами леса площадка вдавалась мысом в непроходимую кущу ельника, под сенью которого белели две палатки, а подле них несколько шалашей, наскоро устроенных из ветвей соломы, попона и войлоков.

Одно из пепелищ было обставлено треножниками, кастрюлями, котликами, ящиками, самоварами и прочими кухмистерскими принадлежностями; кроме того, в разных местах было постлано множество соломы, на которой покоились борзые, или туго свернувшись крендельком или на всем боку, нежно потягиваясь и выпрямляя усталые ноги.

Я раскурил сигару и занялся рассматриванием подробностей этой картины. Псаря и конюхи пробуждались поочередно и, выползая то из среды борзых, то из чащи, немедленно приступали к исполнению должностей, лошади начали потихоньку ржать и постукивать копытами, храбро поглядывая на приступивших с торбами к одной из фур для насыпки овса; то вдруг которая-нибудь из собак вскакивала, садилась на четвереньки, горбилась, зевала,

вытягивала шею, и потом, сделав несколько вольтов на месте, ложилась снова и свертывалась клубок: эта перекладка на другой бок сопровождалась неизбежным рычаньем одной или обеих соседок; иные из них были так неуживчивы, что вскакивали сами с явным намерением к драке: затевалось общее ворчанье, в таком случае немедленно присоединялся к ним голос которого-нибудь из псарей: «Но-о! А-си-на! В свал-ку!», и спокойствие водворялось. Но вот в палатке раздалось одно из многозначительных побрякиваний, за ним потянулось мягкое, эластическое: «Эй» – и два псаря побежали к крайнему шалашу: «Артамон Никитич! Артамон Никитич! Граф проснулся!» В ответ на это раздалось громкое и быстрое: «Сейчас!» – и высокий, стройный малый выскочил из шалаша в одном жилете. Он тотчас напялил на себя темный казакин и, не мешкая, отправился к ящикам: вынул серебряный судок с пустым стаканом, под левую мышку захватил графин с водой, а в правую руку взял бутылку с фонарем.

Навстречу к нему из палатки вышла красивая борзая собака, потянувшись сначала назад, потом наперед, потом уперлась на все четыре лапы, мощно встряхнулась, загремела ошейником и замахала хвостом, приветствуя Артамона Никитича.

Отправясь вслед за графином и бутылкой, я услышал вначале явственные признаки полоскания графского рта, потом полоскание стакана и всплеск воды на траву, потом, когда вслед за этим всплеском стакан снова начал наполняться жидкостью, уже не из графина, а из бутылки, я успел раза два погладить мягкие и красивые завитки серого Чауса.

– Кажется, ночью был дождик? – спросил Атукаев своего камердинера после трех звучных плотков.

Я тотчас смекнул, что человек, имевший удовольствие размачивать себя в продолжение пяти часов, имеет полное право доносить о дождях, слякотях и прочих выскочках природы, а потому, не желая вводить в грех полусонного камердинера, входя в палатку, сказал:

– Был, и очень порядочный.

В ответ на это донесение меня встретили неизбежные: «Ба, ба, ба!» – и следующие за тем приветствия, что я свалился с неба.

– Просто-напросто твои выжлятники вытащили меня из какой-то трясины, – сказал я, усаживаясь на графскую постель, состоявшую из полукопны сена, застланной ковром.



После этого пошло в ход подробное описание моего путешествия, взамен которого, по примеру всех романистов, следовало бы заняться описанием графской особы, но мы, надеюсь, успеем ознакомиться с ним и без этих предисловий.

– И прекрасно! – сказал Атукаев, выслушав до конца мое повествование. – Это тебе в наказание за прежние отказы потешиться вместе с нами. Ну, теперь как же ты хочешь поступить насчет дальнейшего странствования?

– Это будет зависеть от тех удобств, какие представит мне мой экипаж при появлении моем из болота.

– А по-моему, так эту статью придется повести иначе.

– Как же?

– А вот как это мы устроим. Во-первых, ты, как приبلудная овца, волею-неволею прилепляешься к нашему стаду, и я, как пастырь, беру тебя под свою опеку. Второе и главное есть то, что у меня вчера был передох (дневка), и вечером подвыли пять голосов в котловине да два отозвались в Асоргинских; поэтому мы нынче обедаем в Клинском, а вечернее поле берем в Глебкове; оттуда, как тебе известно, останется до дома всего-то восемь верст: следовательно, Игнатка твой откормит здесь лошадей и увезет на паре изломанную тележку домой; третья уйдет вместе с кухней и моими заводными в Клинское, а завтра возница твой, с новой таратайкой, явится к нам в Глебово. Гут?

– Да еще какой гут! Просто на славу.

– Ну, и чудесно! Значит, ты теперь в моем распоряжении?

– В полном. Одним словом, я одна из самых послушных овец твоих, и попечительство начнется тем, что ты велишь тотчас подать мне стакан самого горячего чаю. Потому что я продрог до костей.

– Ну, и прекрасно! Эй! Чаю!

В это время я отвернулся к стоявшему в углу фонарику, чтоб раскурить сигару, и вдруг почувствовал, как две ладони закрыли мне глаза, и звонкий тенор произнес над ухом:

– Узнал?

– Узнал, – отвечал я наугад, желая скорей освободиться; но этим не кончилось: я должен был выдержать полный курс обниманий, прижиманий и лобзаний, и только по окончании этой давки мог явственно отличить высокую фигуру Луки Лукича Бацова от дубленого полушубка, облекавшего оную.

– Каков! Прискакал! Слышал, братец, слышал все, как ты там в болоте... Ну, да это пустяки! Вообрази, мы почти год, как не видались. Ну, да это пустяки! А вот что вчера подвыли семерых; а главное, вообрази, Карай-то мой, Карай! Третьего дня – лису матерую, то есть, можешь ты себе представить, с первой угонки, как вложился – джи!..

Лука Лукич не окончил еще начатого рукою жеста, выражавшего, по его мнению, ловкость и удалство Карая, как из соседней палатки послышался хорошо знакомый мне голос г. Стерлядкина.

– Врет, все врёт! Не верьте ему...

– Так и поволок, – продолжал Бацов. – Ну, что он там орет спросонков, эта щучья пасть! Не верь ему, братец!.. Он что ни скажет – все пустяки. Здравствуй, граф! А где же Хлюстиков?

– Эй! Подать сюда Петрунчика! – сказал граф людям. – Да он вчера так нахлестался, что, я думаю, и теперь еще не пришел в память.

– Ничего! – кричал Стерлядкин из своей палатки. – Это ему не в первый раз, да и не в последний. Здравствуй, граф! Каково спалось под дождиком?

– Хорошо. А у нас вчера что-то долго шла потеха. Ну, что: на чем решили?

– Известное дело, на чем. Карая нынче придется по хвосту.

– Слышишь, Лука? – сказал граф, обратясь к Бацову. – И ты в силах будешь перенести этот удар? А с кем идет?

– С Азарным! – кричал Стерлядкин. – На первого подозреваемого; прибылые не в счет; да еще добро бы до первой угонки, а то прямо на завладай.

– Ого! Ну, что ты, брат Лука? Уж, видно, напрямик с ума спятил! Воля твоя, у меня вчуже сердце замирает. Добро бы еще на дюжину шампанского, а то, посуди сам, ведь это срам на всю жизнь.

Бацов молча покручивал усы; заметно было, что он начинал трусить. «Пустяки», – сказал он, но уже не так громко и отчетливо.

– У тебя все пустяки! А рассуди-ка сам: Карай твой, слова нет, собака добрая, во всех ладах, да молода; притом же, ты сам знаешь: псовая, пылкая, следовательно, накоротке; сверх того, коли не осердишься, я скажу правду: он, брат, у тебя больно подуздоват {нижняя челюсть короче верхней}! А коли ты охотник с толком, так знай, что подуздоватая собака всегда непоимиста. Куда ж ты заехал? Добро бы на садового; да еще до угонки; а то давай нам подозренного, да материка! Эх куда хватил! С Азарным – шутка! Нет, брат, я Азарного знаю...

Граф не кончил и начал вслушиваться. За палаткою шла страшная возня:

– Слышь, прочь, прибыю! Подлец буду – прочь! Зарежу!..

Я выплянул из палатки.

В шалаше, из которого недавно появился камердинер, лежал маленький человек в заячем полукафтани и размахивал ногами, отбиваясь от двух псарей, которые старались завладеть им. По голосу и складу бранчивой и отрывистой речи я тотчас узнал в нем Петра Сергеевича Хлюстикова.

– Тащи, тащи его! – кричал голос из палатки.

– Слышите, Петр Сергеич? Граф кличет. Пойдемте! – говорил псарь.

– Пошел, дурак! Ты видишь: я сплю.

– Нельзя: приказано будить.

– У-у! Нельзя, нельзя, скотина! Прочь убирайся!

– Бери, тащи его! – раздался голос Бацова.

– Петр Сергеевич, Лука Лукич зовет...

– Лу-ка! Лу-кич! Скажи ему, что он такой же скот, как и ты!.. А Карай – просто шалава...

В палатке раздался общий смех.

– Тащи, тащи его! – кричал Стерлядкин, выходя из своей палатки в колпаке и беличьим халате.

– Еще один! А-а-ай! Не буду. Голубчики, пустите!.. Иду, право, иду! – кричал Хлюстиков, барахтаясь на руках у псарей.

В палатку подали чай.

Хлюстиков явился вслед за самоваром.

Украшенное тройным комплектом веснушек, лицо его было до крайности мало и в минуту выражало на себе тысячу различных оттенков. Темно-каштановые курчавые волосы, наперекор всем прическам, постоянно убегали вверх, вообще же, сочетание всех мелких частиц этого лица носило выражение, порождавшее в каждом невольный смех. На взгляд Хлюстикову было лет около пятидесяти.

Он подобострастно подошел к постели Атукаева, который погладил его по голове и потрепал по щеке.

– Вот, Петрунчик, умница! Встал раненько, а теперь пойдет умоется, причешет головку и явится в нам молодец-молодцом.

– И подадут ему стакан чаю, – прибавил Бацов, ударяя на слово «чай».

– Чаю... Дурак! Я не гусь... Эй, ча-ла-эк! Отставному губернскому секретарю, чуть-чуть не кавалеру, Петру Сергееву, сыну Хлюстикову – трубку, водки и селедки. Но-о! – Эти слова были произнесены подобающим тоном.

В минуту было подано то и другое.

Взявши в одну руку коротенькую трубочку, а в другую – налитую рюмку, Хлюстиков значительно подмигнул глазком, крикнул, плюнул, показал язык Бацову и мигом опорожнил рюмку, но в то же мгновение глаза его выпучились, лицо сморщилось, он вздрогнул и сердито швырнул рюмку человеку под ноги.

Разразился общий смех.

– Пад-ле-цу-ксу-су-су... – шипел Хлюстиков, харкая и отплевываясь.

Наконец он жадно приступил к куренью. После трех сладостных затяжек перед носом Хлюстикова взлетел огненный фонтан от вспыхнувшего пороха, положенного на дно трубки, и Хлюстиков опрокинулся на графскую постель. Наконец он вскочил и с бранью убежал в шалаш.

Допив второй стакан чаю, я вышел из палатки.

Игнатка мой крепко спал, растянувшись перед пылавшим костром. Испачканные в грязи и тине лошади исправно ели овес, опустья головы в изломанную тележку, которая казалась вовсе не годною к употреблению. Вокруг меня все было в движении: псары оседлывали лошадей; кучера впрягали других в брички и колесницу; повара укладывали кастрюли в ящики; выжлятники смыкали гончих; стремянный, с двумя борзятниками, подлавливал графских сворных и пихал в колесницу. Между охотниками шли непрерывные перебранки и пересмешки; собаки выли, прыгали, вытягивались и махали хвостами, ласкаясь к своим хозяевам.

– Глядь-ка, глядь, Кирюха! Савелий Трофимыч знает-таки учливость, – сказал борзятник Егорка своему соседу.



Все обратились к колеснице.

Там, перед графским стремянным, стоял старичок-охотник, лет шестидесяти, без шапки, и низко кланялся; на руках у него лежала тощая борзая собачонка.

– Эх, Трофимыч, твою бы Красотку, замесь коляски, хоть и повыше куда вздыбить, так в ту ж пору.

Охотники засмеялись.

– И что вы, батюшка Ларивон Петрович! Собака – мысли; перед богом, не лгу. Не перебрамшись, слабосилок, в разлинке. А да-ка нам... Намедни, как по матером-то, она с графской Заигрой, постреленок, ухо в ухо! Перед богом, не лгу... ажно седло подо мной затрепыхало... Поди, матушка, подь туды, подь!.. – продолжал старик, сдавая свою любимцу стремянному на руки.

Собака мигом очутилась в рыдване и, глядя в окошко на удалявшегося Трофимыча, жалобно взвыла.

– Ишь, она к почету-то не привыкла, – сказал Егорка.

– Не замай, граф увидит! Она в те поры за сук уцепится, – отвечал Кирюха, затягивая подругу.

Я еще раз взглянул на спавшего Игнатку, и мне стало жаль будить его. С правой стороны сквозь чашу просвечивала заря. Я пошел снова к палатке: там был слышен голос Бацова; граф был уже одет; Хлюстиков по-прежнему сидел на постели, подбоченясь, и, прищуря глаз, насмешливо поглядывал на Бацова.

– Это пустяки, – продолжал Бацов. – После этого ты станешь уверять меня, что я не человек.

– Конечно, разве ты человек! Ты – Бацов. Граф, голубчик, прикажи дать рюмочку!

– Петрунчик, ты душка! Кажется, намерен с утра сделаться никуда не годным, – сказал Атукаев, щипля его за щеку. – Этим ты меня очень огорчишь.

– Голубчик, ваше сиятельство! Одну только, право, одну! Я ведь по одной пью...

– Ну, нечего делать. Дай ему мадеры!

– Только побелей, этой, знаешь, великороссийской, из-под Орла... Кхе! – Тут Хлюстиков щелкнул языком, заболтал ногой и выразил многозначительную мину.

– А знаешь ли, за что его из суда выгнали? – спросил Бацов, обратясь ко мне.

– Умны были, догадались... Эх, Бапочка моя, ты и того не смыслишь! Расталке муа... Кхе!

Хлюстиков мигом опорожнил рюмку.

Люди начали снимать палатку.

Отдав наскоро кое-какие поручения своему кучеру, я поспешил к обществу.

Шестьдесят гончих стояли в тесном кружке, под надзором четырех выжлятников и ловчего, одетых в красные куртки и синие шаровары с лампасами. У ловчего, для отличия, куртка и шапка были обшиты позументом. Борзятники были одеты тоже однообразно, в верблюжьи полукафтаны, с черною нашивкою на воротниках, обшлагах и карманах. Рога висели у каждого на пунцовой гарусной тесьме с кистями. Все они были окружены своими собаками и держали за поводья бодрых и красивых лошадей серой масти.

Нам подвели оседланных лошадей; людям начали подносить вино.

– Ну, смотри у меня! – начал граф, обратясь к охотникам. – На лазу {место, откуда нажидают зверя} стой, глаз не раскидывай; проудил {протравил, не поймал} – не твоя беда, прозевал – ремешком заплатишься. Чуть заприметил, что красный зверь пошел на тебя, не зарься, дай поле. Поперечь, а то в щипец {пасть} нажидай... особенно лису: заопушничала подле тебя без помычки, на глади – стой, не дохни; а место есть на пролаз, тотчас рог ловчему посылай. Ты, Кондрашка, смотри, берегись: я видел сам прошлый раз, как ты бацовскую лису, без голоса, втравил в отъемную вершину... А главное, на драку {на подмогу} без толку не подавать. У всех вас есть эта замашка; глядишь, чуть щелкнула которая, или там увидал полено {волчий хвост} али трубу {лисий хвост}, и пошел клич кликать – и все, дурачье, сыплют к нему, а ловчий хоть умирай на рогу: «У нас, дескать, своя забота!» Вот я за вами сам начну присматривать! Садись!

Люди начали садиться на лошадей: собаки радостно взвыли и заметались вокруг охотников.

Ловчий {правлящий стаею гончих собак} со стаею тронулся вперед; за ним поплелась длинная фура с борзыми; доезжание {охотник с борзыми} разравнялись по три в ряд. Раздался свисток. Егорка поправил на себе шапку, потрянул головой, откашлянул и залился звонким переливистым тенором:

Эх, не одна в поле дороженька...

Еще свисток – и двадцать стройных, спетых голосов грянули разом:

Пролежала...

Вскоре и эхо в лесу крикнуло нам вслед:

Эх, зарастала...

Русское солнышко засветило нам с левой руки.

Отойдя с версту, мы увидели в стороне маленькую деревушку. Граф приказал охотникам идти до места, а мы повернули направо, и, в сопровождении стреляющих, поехали рысью по узкой проселочной дорожке. У крайней избы стояли пять оседланных разномастных лошадей; возле них бродило около дюжины борзых и два человека в нагольных полубухах, туго подпоясанных ремнями.

– Вот и наши мелкотравчатые, – сказал Атукаев, слезая с лошади.

Навстречу к нам выбежал из избы низенький, плотный, с крошечными усиками и распухлыми щеками, нестарый человек в сереньком казинетовом сюртучке и начал раскланиваться на все стороны.

– Что, ваше сиятельство, заждались? А мы было тотчас только что... – лепетал он, пожимая с низкими поклонами руку Атукаева.

– Вот, прошу познакомиться: наш помещик Трутнев, – сказал Атукаев, обратясь ко мне.

– Очень приятно-с! Честь имею рекомендоваться, – лебезил Трутнев, шаркая ногами.

– Я, кажется, уже имел удовольствие вас встречать?

– Ах, да, виноват, у Трещеткиных... они, признаться сказать, немножко мне сродни... Здравствуйте, почтеннейший Петр Сергеевич, мое вам почтение, Лука Лукич! Степану Петровичу!..

Трутнев остался на крылечке с Стерлядкиным; мы вошли в просторную крестьянскую избу: два окна на улицу и одно на двор, печка, полати, и кругом лавки; в красном углу стоял длинный стол; одна половина его была густо исчерчена мелом и завалена картами, на другом конце красовался графин с водкой, а подле него – солонка, кусочек черного хлеба и полуизгрызанный кренделек. Тут же, опершись локтем о конец стола и задумчиво опустя лысую голову, сидел осанистый мужчина в телячьем яргаке; он держал между пальцев на весу погасшую трубку и, не обращая ни на что внимания, рассуждал сам с собою:

– Мо-шен-ник ты... валет семь с пол-тиной... па-роль проиграл! Са-а-вра-сого взять – нет, врешь, Во-лодь-ка! – бормотал сидящий.

Явился человек, потер полою стол и убрал карты; потом протянул руку к графину.

– Ст-ой, дур-рак! Ку-да? – завопил рассуждавший. Он медленно поднял голову и уставил на нас глаза.

– Граб-бители! – произнес он, опускаясь снова, и уронил трубку на пол.

– Этот теперь ни на что не годен, – сказал Бацов.

Вбежал Трутнев и начал торопливо будить протянутого вдоль лавки мужчину в синем пальто, с густыми бакенбардами.

– Степа, а Степа, вставай! Граф приехал!

Степа отбивался локтем и бормотал:

– От-стань, не хочу!.. Ну, пошел!..

– Эк ты их усахарил! – сказал Бацов Трутневу.

– Степа... граф! – крикнул Трутнев над самым ухом.

Степа обернулся, оттенил глаза рукою, всмотрелся и вскочил как встрепанный.

В это время Хлюстиков овладел графином, налил рюмку и запел «Чарочка моя» и проч.

– Ах, m-r le comte! Mille pardons! Извините, право, извините! – болтали Бакенбарды и кинулись будить лысину.

– Петр Иванович! Что ж ты? Мы все...

– Граб-ит-ел-и... у-к!..

Петр Иванович еще икнул и замотал головой.

– Ну, не замай его – травит тут, – сказал Бацов. Мы вышли.

Полями, буграми, лощинами, перелесками, то тротом, то шагом проехали мы верст десять и наконец, спускаясь на луговину, услышали стройный хор песенников. Завидя нас, они перестали петь и начали поить у ручья лошадей и выпускать борзых из фуры. Освобождаясь от заточения, собаки радостно взывали, прыгали, потягивались и ласкались к лошадям и охотникам. Некоторые из них стрелой помчались к нам и с радостным визгом начали прыгать на седла к своим господам.



– Ты, Ларка, – сказал граф стремянному, – возьми теперь к себе Обругал, Крылата и Язву; а мне к Чаусу Злоима и Наградку, а Сокола и Пташку отдай тому охотнику, которого вот им, – граф указал на меня, – угодно будет взять к себе в лаз.

Пока я благодарил графа за внимание, стремянный ловко подвернулся ко мне и шептал:

– Возьмите, сударь, кума Никанора: у него собаки приемисты.

Это предложение мне не понравилось: я метил на удалого малого, Егора. Мы подъехали к стае.

– Ну, выбирай любого, – сказал Атукаев, обратясь ко мне. – Они у меня все знают свое дело.

У каждого из охотников, на которых я мельком взглядывал, просвечивало в глазах сильное желание попасть ко мне на барский лаз. Не желая быть невнимательным к предложению стремянного, я решился одним камнем сделать два удара.

– Кум Егор, со мной! – сказал я отрывисто.

– Эх, сударь, забыли! Я вам докладывал: Никанора, – шептал стремянной.

– Ну, брат, извини! Промахнулся!

Егорка с радостным лицом подбежал ко мне и принял на свору Сокола и Пташку.

Поднявшись на крутой бугор, мы проехали с версту полем и остановились у котловины. Граф пригласил гостей и приказал доезжачим занимать места.

Стая гончих и красные куртки тотчас отделились от нас и медленно потянулись вверх.

– Сударь, не извольте отставать от графа, – шептал Егорка. – Он пойдет налево, за эти дубки: там, я знаю, лучший лаз. Вишь, бацовский стремянный так и пялит туда свои бельмы!

Мы спустились и поднялись из оврага, проехали саженной двести полем и кустарником и остановились в голове обрывистой водомоины, которая, расширяясь постепенно, сливалась с котловиною. Граф и стремянной потянулись от нас за дубки.

Стратегическое достоинство пункта, избранного Егоркой, если и не удовлетворяло всем потребностям, нужным для опытного охотника, зато зрению моему было чистое раздолье. Под ногами у нас неизмеримо длилась глубокая впадина земли, образовавшая собою болото, с высокими кочками, заросшими густым олешником и камышами. В широкую ложбину эту, так кстати названную котловиною, врезывались со всех сторон покатые бугры, пересекаемые лощинами, оврагами и водомоинами. Пункт, на котором остановились мы, владел всей местностью, и я мог отчетливо следить за движением охотников и вместе с тем любоваться сметливостью каждого из них при занятии мест. То исчезая, то вырастая словно из земли, красные куртки ловчего и выжлятников медленно плыли по горизонту. Наконец они утонули в лабиринте спусков и только через четверть часа показались снова на скате высокого холма, поехали прямо на нас и вдруг остановились. Стоявшие на местах охотники были все на виду: в соседстве со мной, налево, саженях в полутораста, был Ларка-стрелянной, а за ним, дальше, граф; направо, в кустарнике, через который мы прошли, поместился старик Савелий Трофимыч с своею Красоткой.

Прошло минут пять в бездействии; наконец Атукаев приложил серебряный рожок к губам: раздался короткий и трескучий звук; старший доезжачий тотчас повторил его на другой стороне ложбины, поближе к ловчему; сигнал этот, в переводе на язык человеческий, означал: «Мечи гончих в остров!» Я явственно увидел, как четыре красные куртки упали в стаю; ловчий один поехал медленно с бугра, и к его ногам, словно мухи, покатались разомкнутые гончие, отрываясь попарно от темного пятна, посреди которого копошились красные куртки; наконец они остались одни и, мгновенно вскочив на лошадей, помчались вниз, вслед за остальными гончими. На краю болота заревел басистый рог ловчего, захлопали сразу четыре арапника – и пошло порсканье.

– Теперь, сударь, извольте становиться на место!

– Разве я не на месте?

– Нет. Теперь нам нужно в притин, – сказал Егорка. – Извольте видеть? – продолжал он, указывая на окрестность.

Я взглянул. Действительно, места, на которых за минуту до этого стояли охотники, были пусты. Все они расползлись, словно мухи по щелям.

– Куда ж нам?

– А вот, – сказал Егорка и поворотил лошадь.

Мы выехали в густой куст ивняка, из-за которого можно было видеть только одни наши головы; местность отсюда открывалась еще явственнее.

Вскоре к порсканью присоединился голос одной собаки.

– Это Будило, – сказал Егорка.

К первому голосу примкнули еще два, такие же басистые.

– Это Рожок и Квокша, – продолжал мой стремянной.

Красные куртки зашевелились в болоте и начали накликать «на горячий» {свежий след.}.

– Что ж это значит?

– Это еще ничего! Вот кабы Кукла да Соловей!.. А вот и он!.. Эх, варят... подваливают... Ну, повис на щипце! Теперь, барин, держитесь крепче: лошадь под вами азарная.

Я укоротил поводья, укрепился в седле и взглянул на Егорку: он дрожащими руками перебирал узду и выправлял свору; лицо его бледнело, рот был полуоткрыт, глаза светились, как у молодого ястреба.

Ловчий подал в рог.

– По красному, – сказал Егорка, чуть дыша. С этим словом в котловине закипел ад: с фаготистыми и на подбор голосами собак слился тонкий, плакучий, переливистый и неумолкаемый голос Куклы; к ней подвалил всю стаю, и слилось заркое порсканье. Камыш затрещал, болото пошло ходуном и словно вздрагивало и колебалось под громом этого бесовского речитатива.

– Ну, одна катит! – прошептал Егорка, гляд в болото.

Я тоже начал всматриваться.

Лисица тихо прокрадывалась мимо нас по болоту, как тонкий осенний листок, стлалась между кочек, то поднимая свою вострую головку, то припадая к земле, она наконец миновала наш лаз и, подбуженная новым приливом порсканья, вынеслась на бугор и покатила прямо в кусты. Старик Трофимыч стоял не шевелясь; наконец он заулюлюкал, указал ее собакам и скрылся из вида.

В то же время на противоположной нам стороне в разных местах охотники принялись травить в несколько свор.

Мне почудилось наконец, что стая погнала в нашу сторону, и действительно, через минуту что-то начало ломиться в камыше; вскоре затем выкатил матерой волк и понесся по кочкам, прямо в вершину, в голове которой был наш секретный пост.

– Егорка, видишь? – спросил я шепотом.

Егорка мой стиснул зубы и только дрожащею рукой подал мне знак пригнуться: он блестящими глазами своими, казалось, прожигал куст, сквозь который смотрел на волка.

Наконец зверь очутился противу нас, саженьх в десяти; Егорка молча показал его собакам и бросил свору из рук. Пять собак рванулись разом, и Сокол первый, грудь в грудь, сцепился с волком: оба они слились в одно неразрывное целое, покатались по земле и исчезли в водомоине; прочие собаки скучились и прыгнули туда же; мы очутились там же, но, – увы! – раздался пронзительный визг, и храбрый наш Сокол, облитый кровью, катался по земле; волк сидел, оцелкиваясь от прочих собак, которые не смели к нему подступить. Егорка подал на драку, но зверь прыгнул на чистоту, принял направо и поскакал полем. Недолго, однако ж, длилась эта прыть: в рытвине, противу нас, мелькнула шапка стремянного, и в то же время три свежие собаки понеслись навстречу дерзкому беглецу.

Волк не устоял противу первого напора приемистых и свычных с делом бойцов: он оробел, оцелкнулся и пошел наутек, но Крылат и Обругай повисли на нем; наши собаки подоспели, скучились, и свалка сделалась общею; прежде, однако ж, чем мы успели подскакать, волк стряхнул с себя кучу собак и, оцетинясь, сел в кружку, страшно сверкая глазами; подле него катался по земле Обругай, с прокушенным боком. Егорка прыгнул с лошади и пошел к волку с кинжалом в руке. Видя нового врага, рассвирепевший зверь рванулся отчаянно вперед и побежал, оцелкиваясь от собак, мимо дубов к кустарнику. Но вот из-за куста, между полынью, шмыгнуло что-то, с свистом, как пущенная стрела, и серый Чаус в мгновение ока сцепился с зверем и покатился с ним по пашне; собаки налетели на них гурьбой, и из них образовался один неразрывный клубок.



К нам подскакали старик Савелий и граф.

И вот в середине этого кружка что-то сильно поколебалось; собаки разлетелись врозь, и посреди них, как два достойные бойца, волк и Чаус поднялись на дыбы, схватились яростно и снова грянулись на землю; собаки снова накрыли их плотною броней.

Граф приказал принять зверя.

Охотники прыгнули с лошадей, и Егорка, первый схватя волка за заднюю ногу, всадил ему в пах кинжал по рукоятку; собаки отскочили; на земле остался один только Чаус: пасть его впилась в волчье горло и замерла на нем; зверь, хрипя, лежал вразтяжку; стремянный бросился к Чаусу и рознял ему пасть кинжалом.

Храбрый боец при общих похвалах отошел тихо в сторону и снова пал на землю, сильно дыша; из горла у него валила клубом кровавая пена; налитые кровью глаза блестели, как раскаленные угли.

Егорка с радостным лицом принялся вторачивать волка, как трофей, принадлежащий ему, по праву охоты.

– Ваше сиятельство! Честь имею поздравить вашу милость с полем, батюшка! – сказал старик Савелий, снимая шапку.

– И вас также, Савелий Трофимыч! – отвечал граф весело, подражая старику в ухватках.

У Трофимыча была в тороках лиса.

Мы спешились и пошли левым берегом котловины, весело разговаривая о событиях удачной травли. Я гладил Чауса, который шел подле графа и сделался смирен, как овца. Атукаев был очень доволен быстротою, действиями и сметливостью своих охотников.

Ловчий, стоя на бугре, вызывал на рог гончих острова: мы подошли к нему; вскоре и прочие охотники начали туда съезжаться.

На той стороне котловины затравили двух волков прибылых, лисицу и несколько зайцев. Каждый из охотников, рассказывая подробности травли, приписывал своей своре необыкновенные достоинства; но все они, однако же, завистливо поглядывали на торока Егоркины, потому что подобного волка никому еще из них не случилось возить за своим седлом.

– Сорок лет сию на коне, ваше сиятельство, – повторял Трофимыч, – а таких не принимал!

В это время к нам подъехали Бацов и Стерлядкин с прочими господами.

– Посмотри-ка, Лука Лукич! – сказал я, указывая на волка.

– Это, братец, пустяки; а ты вообрази себе, Карай-то мой, Карай, опять лису так вот: джи!..

– Где ж она? – спросил Стерлядкин.

– Ну, вот, у Кирюхи, – отвечал Бацов, указывая на графского охотника.

– Значит, ты травишь в чужие торока!

Все засмеялись.

В Асоргинских до обеда мы еще затравили одного волка и двух лисиц, и ровно в час за полдень жители Клинского, все, от мала до велика, выбежали за околицу встречать наш поезд. С гордым и веселым видом, с бубнами, свистками и песнями вступили удалые охотники в деревню, обвешанные богатой добычей.

У новой и просторной на вид избы стояли походные брики, а на крылечке – люди и повара, ожидавшие нашего возвращения.

С шумом, весельем и смехом вскоре уселись мы за стол.

Во время обеда граф поочередно призывал к себе отличившихся охотников, выдавал им определенную награду за «красного» и потчевал вином. Уже подали нам жаркое и в стаканах запенилось искристое вино, когда вошел старик Савелий с своею неразлучною Красоткой.

– Ну, старик, поздравляю, с полем! – сказал граф. – Говорят, что Красотка хорошо скачет? Отчего она так худа?

– В разлинке, батюшка ваше сиятельство, не перебрам-шись!

– Это за красного, а Красотку дарю тебе за усердную службу.

– Много доволен вашей милостью, – сказал старик. – Навсегда вам слуга, ваше сиятельство!.. Сорок лет на коне сижу... Еще покойному дедушке вашему, графу Павлу Павловичу, служил верою и правдою; перед богом, не лгу... – продолжал он, утирая рукавом радостные слезы.

– Старик, продай мне Красотку, – сказал Бацов, подавая ей кусок пирога.

– Как продать-то, барин?.. Свой выкормок, сударь, батюшка, самому-то не при чем быть... на старости лет, ни роду, ни племени, одна племянница была – и тое господь бог прибрал.

– Ну, что ж? Ведь Красотка тебе не внучатная? – возразил Бацов.

Старик посмотрел вначале на Бацова, потом на Красотку и потряс головой.

– Нет, сударь, не продажная!

Мы встали.

1857

Лев Толстой

Война и мир. Отрывок



IV

Старый граф, всегда державший огромную охоту, теперь же передавший всю охоту в ведение сына, в этот день 15-го сентября, развеселившись, собрался сам тоже выехать. Через час вся охота была у крыльца. Николай с строгим и серьезным видом, показывавшим, что некогда теперь заниматься пустяками, прошел мимо Наташи и Пети, которые что-то рассказывали ему. Он осмотрел все части охоты, послал вперед стаю и охотников в заезд, сел на своего рыжего донца и, подсвистывая собак своей своры, тронулся через гумно в поле, ведущее к отраденскому заказу. Лошадь старого графа, игреневого меринка, называемого Вифлянкой, вел графский стремянный; сам же он должен был прямо на оставленный ему лаз выехать в дрожечках.

Всех гончих выведено было пятьдесят четыре собаки, под которыми доезжачими и выжлятниками выехало шесть человек. Борзятников, кроме господ, было восемь человек, за которыми рыскало более сорока борзых, так что с господскими сворами выехало в поле около ста тридцати собак и двадцати конных охотников.

Каждая собака знала хозяина и кличку. Каждый охотник знал свое дело, место и назначение. Как только вышли за ограду, все без шума и разговоров, равномерно и спокойно растянулись по дороге и полю, ведущими к отраденскому лесу.

Как по пушному ковру, шли по полю лошади, изредка шлепая по лужам, когда переходили через дороги. Туманное небо продолжало незаметно и равномерно спускаться на землю; в воздухе было тихо, тепло, беззвучно. Изредка слышались то подсвистывание охотника, то храп лошади, то удар арапником или взвизг собаки, не шедшей на своем месте.

Когда отъехали с версту, навстречу ростовской охоте из тумана показались еще пять всадников с собаками. Впереди ехал свежий, красивый старик с большими седыми усами.

— Здравствуйте, дядюшка! — сказал Николай, когда старик подъехал к нему.

– Чистое дело марш!.. Так и знал, – заговорил дядюшка (это был дальний родственник, небогатый сосед Ростовых), – так и знал, что не выдержишь, и хорошо, что едешь. Чистое дело марш! (Это была любимая поговорка дядюшки.) Бери заказ сейчас, а то мой Гирчик донес, что Илагини с охотой в Коринках стоят; они у тебя – чистое дело марш! – под носом выводок возьмут.

– Туда и иду. Что же, свалить стаи? – спросил Николай. – Свалить...

Гончих соединили в одну стаю, и дядюшка с Николаем поехали рядом. Наташа, закутанная платками, из-под которых виднелось оживленное, с блестящими глазами лицо, подскочила к ним, сопровождаемая не отстававшими от нее Петей и Михайлой-охотником и берейтором, который был приставлен нянькой при ней. Петя чему-то смеялся и бил и дергал свою лошадь. Наташа ловко и уверенно сидела на своем вороном Арабчике и верною рукой, без усилия, осадила его.

Дядюшка неодобрительно оглянулся на Петю и Наташу. Он не любил соединять баловство с серьезным делом охоты.

– Здравствуйте, дядюшка, и мы едем, – прокричал Петя.

– Здравствуйте-то здравствуйте, да собак не передавите, – строго сказал дядюшка.

– Николенька, какая прелестная собака Трунила! Он узнал меня, – сказала Наташа про свою любимую гончую собаку.

«Трунила, во-первых, не собака, а выжлец», – подумал Николай и строго взглянул на сестру, стараясь ей дать почувствовать то расстояние, которое их должно было разделять в эту минуту. Наташа поняла это.

– Вы, дядюшка, не думайте, чтобы мы помешали кому-нибудь, – сказала Наташа. – Мы станем на своем месте и не пошевелимся.

– И хорошее дело, графинечка, – сказал дядюшка. – Только с лошади-то не упадите, – прибавил он, – а то – чистое дело марш! – не на чем держаться-то.

Остров Отраденского заказа виднелся саженьях во ста, и доезжачие подходили к нему. Ростов, решив окончательно с дядюшкой, откуда бросать гончих, и указав Наташе место, где ей стоять и где никак ничего не могло побежать, направился в заезд над оврагом.

– Ну, племянничек, на матерого становишься, – сказал дядюшка, – чур, не гладить.

– Как придется, – отвечал Ростов. – Карай, фюит! – крикнул он, отвечая этим призывом на слова дядюшки. Карай был старый и уродливый брдастый кобель, известный тем, что он в одиночку брал матерого волка. Все стали по местам.

Старый граф, зная охотничью горячность сына, поторопился не опоздать, и еще не успели доезжачие подъехать к месту, как Илья Андреич, веселый, румяный, с трясущимися щеками, на своих вороненьких подкатил по зеленым к оставленному ему лазу и, расправив шубку и надев охотничьи снаряды, влез на свою гладкую, сытую, смирную и добрую, посевшую, как и он сам, Вифлянку. Лошадей с дрожками отослали. Граф Илья Андреич, хоть и не охотник по душе, но знавший твердо охотничьи законы, въехал в опушку кустов, от которых он стоял, разобрал поводья, оправился на седле и, чувствуя себя готовым, оглянулся, улыбаясь.

Подле него стоял его камердинер, старинный, но отяжелевший ездок, Семен Чекмарь. Чекмарь держал на своре трех лихих, но так же заживевших, как хозяин и лошадь, волкодавов. Две собаки, умные, старые, улеглись без свор. Шагов на сто подальше в опушке стоял другой стремянный графа, Митька, отчаянный ездок и страстный охотник. Граф, по старинной привычке, выпил перед охотой серебряную чарку охотничьей запеканочки, закусил и запил полубутылкой своего любимого бордо.



Илья Андреич был немножко красен от вина и езды; глаза его, подернутые влагой, особенно блестели, и он, укутанный в шубку, сидя на седле, имел вид ребенка, которого собрали гулять.

Худой, со втянутыми щеками Чекмарь, устроившись с своими делами, поглядывал на барина, с которым он жил тридцать лет душа в душу, и, понимая его приятное расположение духа, ждал приятного разговора. Еще третье лицо подъехало осторожно (видно, уже оно было учено) из-за леса и остановилось позади графа. Лицо это был старик в седой бороде, в женском капоте и высоком колпаке. Это был шут Настасья Ивановна.

– Ну, Настасья Ивановна, – подмигивая ему, шепотом сказал граф, – ты только оттопай зверя, тебе Данило задаст.

– Я сам... с усам, – сказал Настасья Ивановна.

– Шшшш! – зашикал граф и обратился к Семену.

– Наталью Ильиничну видел? – спросил он у Семена. – Где она?

– Они с Петром Ильичом от Жаровых бурьянов стали, – отвечал Семен, улыбаясь. – Тоже дамы, а охоту большую имеют.

– А ты удивляешься, Семен, как она ездит... а? – сказал граф. – Хоть бы мужчине впору!

– Как не дивиться? Смело, ловко!

– А Николаша где? Над Лядовским верхом, что ли? – все шепотом спрашивал граф.

– Так точно-с. Уж они знают, где стать. Так тонко ездут, что мы с Данилой другой раз диву даемся, – говорил Семен, зная, чем угодить барину.

– Хорошо ездит, а? А на коне-то каков, а?

– Картину писать! Как намерднись из Заварзинских бурьянов помкнули лису. Они пере-скакивать стали, от уймища, страсть – лошадь тысяча рублей, а седоку цены нет! Да, уж такого молодца поискать!

– Поискать... – повторил граф, видимо сожалея, что кончилась так скоро речь Семена. – Поискать, – сказал он, отворачивая полы шубки и доставая табакерку.

– Намедни как от обедни во всей регалии вышли, так Михаил-то Сидорыч... – Семен не договорил, услышав ясно раздавшийся в тихом воздухе гон с подвыванием не более двух или трех гончих. Он, наклонив голову, прислушался и молча погрозился барину. – На выводок натекли... – прошептал он, – прямо на Лядовской повели.

Граф, забыв стереть улыбку с лица, смотрел перед собой вдаль по перемычке и, не нюхая, держал в руке табакерку. Вслед за лаем собак послышался голос по волку, поданный в басистый рог Данилы; стая присоединилась к первым трем собакам, и слышно было, как заревели с заливом голоса гончих, с тем особенным подвыванием, которое служит призна-

ком гона по волку. Доезжачие уже не порскали, а улюлюкали, и из-за всех голосов выступал голос Данилы, то басистый, то пронзительно-тонкий. Голос Данилы, казалось, наполнял весь лес, выходил из-за леса и звучал далеко в поле.

Прислушавшись несколько секунд молча, граф и его стремянный убедились, что гончие разбились на две стаи: одна, большая, ревавшая особенно горячо, стала удаляться, другая часть стаи понеслась вдоль по лесу, мимо графа, и при этой стае было слышно улюлюканье Данилы. Оба эти гона сливались, переливались, но оба удалялись. Семен вздохнул и нагнулся, чтоб оправить сворку, в которой запутался молодой кобель. Граф тоже вздохнул и, заметив в своей руке табакерку, открыл ее и достал щепоть.

– Назад! – крикнул Семен на кобеля, который выступил за опушку. Граф вздрогнул и уронил табакерку. Настасья Ивановна слез и стал поднимать ее.

Граф и Семен смотрели на него. Вдруг, как это часто бывает, звук гона мгновенно приблизился, как будто вот-вот перед ними самими были лающие рты собак и улюлюканье Данилы.

Граф оглянулся и направо увидел Митьку, который выкатывавшимися глазами смотрел на графа и, подняв шапку, указывал ему вперед, на другую сторону.

– Береги! – закричал он таким голосом, что видно было, что это слово давно уже мучительно просилось у него наружу. И поскакал, выпустив собак, по направлению к графу.

Граф и Семен выскакали из опушки и налево от себя увидели волка, который, мягко переваливаясь, тихим скоком подскакивал левее их к той самой опушке, у которой они стояли. Злобные собаки визгнули и, сорвавшись со свор, понеслись к волку мимо ног лошадей.

Волк приостановил бег, неловко, как больной жабой, повернул свою лобастую голову к собакам и, также мягко переваливаясь, прыгнул раз, другой и, мотнув поленом (хвостом), скрылся в опушку. В ту же минуту из противоположной опушки с ревом, похожим на плач, растерянно выскочила одна, другая, третья гончая, и вся стая понеслась по полю, по тому самому месту, где пролез (пробежал) волк. Вслед за гончими расступились кусты орешника и показалась бурая, почерневшая от поту лошадь Данилы. На длинной спине ее комочком, валясь вперед, сидел Данило, без шапки, с седыми встрепанными волосами над красным, потным лицом.

– Улюлюлю, улюлю!.. – кричал он. Когда он увидел графа, в глазах его сверкнула молния.

– Ж...! – крикнул он, грозясь поднятым арапником на графа.

– Про...ли волка-то!.., охотники! – И как бы не удостоивая сконфуженного, испуганного графа дальнейшим разговором, он со всей злобой, приготовленной на графа, ударил по ввалившимся мокрому бокам бурого мерина и понесся за гончими. Граф, как наказанный, стоял, оглядываясь и стараясь улыбкой вызвать в Семене сожаление к своему положению. Но Семена уже не было: он, в объезд по кустам, заскакивал волка от засеки. С двух сторон также перескакивали зверя борзятники. Но волк пошел кустами, и ни один охотник не перехватил.

V

Николай Ростов между тем стоял на своем месте, ожидая зверя. По приближению и отдалению гона, по звукам голосов известных ему собак, по приближению, отдалению и возвышению голосов доезжачих он чувствовал то, что совершалось в острове. Он знал, что в острове были прибылые (молодые) и матерые (старые) волки; он знал, что гончие разбились на две стаи, что где-нибудь травили и что что-нибудь случилось неблагоприятное. Он всякую секунду на свою сторону ждал зверя. Он делал тысячи различных предположений о том, как и с какой стороны побежит зверь и как он будет травить его. Надежда сменялась

отчаянием. Несколько раз он обращался к Богу с мольбой о том, чтобы волк вышел на него; он молился с тем страстным и совестливым чувством, с которым молятся люди в минуты сильного волнения, зависящего от ничтожной причины. «Ну, что тебе стоит, – говорил он Богу, – сделать это для меня! Знаю, что ты велик и что грех тебя просить об этом; но, ради Бога, сделай, чтобы на меня вылез матерый и чтобы Карай, на глазах дядюшки, который вон оттуда смотрит, впился ему мертвой хваткой в горло». Тысячу раз в эти полчаса упорным, напряженным и беспокойным взглядом окидывал Ростов опушку лесов с двумя редкими дубами над осиновым подседом, и овраг с измытым краем, и шапку дядюшки, чуть видневшегося из-за куста направо.

«Нет, не будет этого счастья, – думал Ростов, – а что бы стоило! Не будет! Мне всегда, и в картах и на войне, во всем несчастье». Аустерлиц и Долохов ярко, но быстро сменяясь, мелькали в его воображении. «Только один раз бы в жизни затравить матерого волка, больше я не желаю!» – думал он, напрягая слух и зрение, оглядываясь налево и опять направо и прислушиваясь к малейшим оттенкам звуков гона. Он взглянул опять направо и увидел, что по пустынному полю навстречу к нему бежало что-то. «Нет, это не может быть!» – подумал Ростов, тяжело вздыхая, как вздыхает человек при совершении того, что было долго ожидаемо им. Совершилось величайшее счастье – и так просто, без шума, без блеска, без означения. Ростов не верил своим глазам, и сомнение это продолжалось более секунды. Волк бежал вперед и перепрыгнул тяжело рытвину, которая была на его дороге. Это был старый зверь, с седой спиной и с наеденным красноватым брюхом. Он бежал неторопливо, очевидно убежденный, что никто не видит его. Ростов, не дыша, оглянулся на собак. Они лежали, стояли, не видя волка и ничего не понимая. Старый Карай, завернув голову и оскалив желтые зубы, сердито отыскивая блоху, щелкал ими на задних ляжках.

– Улюлюлю, – шепотом, оттопыривая губы, проговорил Ростов. Собаки, дрогнув железками, вскочили, насторожив уши. Карай дочесал свою ляжку и встал, насторожив уши, и слегка мотнул хвостом, на котором висели войлоки шерсти.

«Пускать? не пускать?» – говорил сам себе Николай в то время, как волк подвигался к нему, отделяясь от леса. Вдруг вся физиономия волка изменилась; он вздрогнул, увидав еще, вероятно, никогда не виданные им человеческие глаза, устремленные на него, и, слегка поворотив к охотнику голову, остановился – назад или вперед? «Э! все равно, вперед!..» – видно, как будто сказал он сам себе и пустился вперед, уже не оглядываясь, мягким, редким, вольным, но решительным скоком.

– Улюлю!.. – не своим голосом закричал Николай, и сама собою стремглав понеслась его добрая лошадь под гору, перескакивая через водомоины впоперечь волку; и еще быстрее, обогнав ее, понеслись собаки. Николай не слышал ни своего крика, не чувствовал того, что он скачет, не видал ни собак, ни места, по которому он скачет; он видел только волка, который, усилив свой бег, скакал, не переменяя направления, по ложине. Первая показалась вблизи зверя черно-пегая, широкозадая Милка и стала приближаться к зверю. Ближе, ближе... вот она приспела к нему. Но волк чуть покосился на нее, и, вместо того чтобы наддать, как это она всегда делала, Милка вдруг, подняв хвост, стала упираться на передние ноги.

– Улюлюлюлю! – кричал Николай.

Красный Любим выскочил из-за Милки, стремительно бросился на волка и схватил его за гачи (ляжки задних ног), но в ту же секунду испуганно перескочил на другую сторону. Волк присел, щелкнул зубами и опять поднялся и поскакал вперед, провожаемый на аршин расстояния всеми собаками, не приближавшимися к нему.

«Уйдет! Нет, это невозможно», – думал Николай, продолжая кричать охрипнувшим голосом.

– Карай! Улюлю!.. – кричал он, отыскивая глазами старого кобеля, единственную свою надежду. Карай из всех своих старых сил, вытянувшись сколько мог, глядя на волка, тяжело

скакал в сторону от зверя, наперерез ему. Но по быстроте скака волка и медленности скака собаки было видно, что расчет Карая был ошибочен. Николай уже недалеко впереди себя видел тот лес, до которого добежав, волк уйдет наверное. Впереди показались собаки и охотник, скакавший почти навстречу. Еще была надежда. Незнакомый Николаю, муругий молодой длинный кобель чужой своры стремительно подлетел спереди к волку и почти опрокинул его. Волк быстро, как нельзя было ожидать от него, приподнялся и бросился к муругому кобелю, щелкнул зубами – и окровавленный, с распоротым боком кобель, пронзительно завизжав, ткнулся головой в землю.

– Караюшка! Отец!.. – плакал Николай...

Старый кобель, с своими мотавшимися на ляжках клоками, благодаря происшедшей остановке, перерезывая дорогу волку, был уже в пяти шагах от него. Как будто почувствовав опасность, волк покосился на Карая, еще дальше спрятав полено (хвост) между ног, и надавал скоку. Но тут – Николай видел только, что что-то сделалось с Караем, – он мгновенно очутился на волке и с ним вместе повалился кубарем в водомоину, которая была перед ними.

Та минута, когда Николай увидал в водомоине копошащихся с волком собак, из-под которых виднелась серая шерсть волка, его вытянувшаяся задняя нога и с прижатыми ушами испуганная и задыхающаяся голова (Карай держал его за горло), – минута, когда увидал это Николай, была счастливейшей минутой его жизни. Он взялся уже за луку седла, чтобы слезть и колоть волка, как вдруг из этой массы собак высунулась вверх голова зверя, потом передние ноги стали на край водомоины. Волк лякнул зубами (Карай уже не держал его за горло), выпрыгнул задними ногами из водомоины и, поджав хвост, опять отделившись от собак, двинулся вперед. Карай с ошетилившейся шерстью, вероятно, ушибленный или раненый, с трудом вылез из водомоины.

– Боже мой! За что?.. – с отчаянием закричал Николай.

Охотник дядюшки с другой стороны скакал наперерез волку, и собаки его опять остановили зверя. Опять его окружили.

Николай, его стремянный, дядюшка и его охотник вертелись над зверем, улюлюкая, крича, всякую минуту собираясь слезть, когда волк садился на зад, и всякий раз пускаясь вперед, когда волк встряхивался и подвигался к засеке, которая должна была спасти его.

Еще в начале этой травли Данило, услышав улюлюканье, выскочил на опушку леса. Он видел, как Карай взял волка, и остановил лошадь, полагая, что дело было кончено. Но когда охотники не слезли, волк встряхнулся и опять пошел наутек, Данило выпустил своего бурого не к волку, но прямой линией, к засеке, также как Карай, – наперерез зверю. Благодаря этому направлению он подсказывал к волку в то время, как во второй раз его остановили дядюшкины собаки.



Данило скакал молча, держа вынутый кинжал в левой руке и, как цепом, молоча своим арапником по подтянутым бокам бурого.

Николай не видал и не слышал Данилы до тех пор, пока мимо самого его не пропыхтел, тяжело дыша, бурый, и он не услышал звук падения тела и не увидел, что Данило уже лежит в середине собак, на заду волка, стараясь поймать его за уши. Очевидно было и для охотников, и для собак, и для волка, что теперь все кончено. Зверь, испуганно прижав уши, старался подняться, но собаки облепили его. Данило, привстав, сделал падающий шаг и всю тяжестью, как будто ложась отдыхать, повалился на волка, хватая его за уши. Николай хотел колоть, но Данило прошептал: «Не надо, соструним», – и, переменив положение, наступил ногою на шею волку. В пасть волку заложили палку, завязали, как бы взнуздав его сворой, связали ноги, и Данило раза два с одного бока на другой перевалил волка.

С счастливыми, измученными лицами живого матерого волка взвалили на шарахающую и фыркающую лошадь и, сопровождаемые визжавшими на него собаками, повезли к тому месту, где должны были все собраться. Молодых двух взяли гончие и трех – борзые. Охотники съезжались с своими добычами и рассказами, и все подходили смотреть матерого волка, который, свесив лобастую голову с закушенной палкой во рту, большими стеклянными глазами смотрел на всю эту толпу собак и людей, окружавших его. Когда его трогали, он, вздрагивая завязанными ногами, дико и вместе с тем просто смотрел на всех.

Граф Илья Андреич тоже подъехал и потрогал волка.

– О, материщий какой, – сказал он. – Матерый, а? – спросил он у Данилы, стоявшего подле него.

– Матерый, ваше сиятельство, – отвечал Данило, поспешно снимая шапку.

Граф вспомнил своего прозванного волка и свое столкновение с Данилой.

– Однако, брат, ты сердит, – сказал граф. Данило ничего не сказал и только застенчиво улыбнулся детски-кроткой и приятной улыбкой.

VI

Старый граф поехал домой. Наташа с Петей остались с охотой, обещаясь сейчас же приехать. Охота пошла дальше, так как было еще рано. В середине дня гончих пустили в поросший молодым частым лесом овраг. Николай, стоя на жнивье, видел всех своих охотников.

Насупротив от Николая были зеленя, и там стоял его охотник, один, в яме за выдавшимся кустом орешника. Только что завели гончих, Николай услышал редкий гон известной ему собаки – Волторна; другие собаки присоединились к нему, то замолкая, то опять принимаясь гнать. Через минуту из острова подали голос по лисе, и вся стая, свалившись, погнала по отвершку, по направлению к зеленым, прочь от Николая.

Он видел скачущих выжлятников в красных шапках по краям поросшего оврага, видел даже собак и всякую секунду ждал того, что на той стороне, на зеленях, покажется лисица.

Охотник, стоявший в яме, тронулся и выпустил собак, и Николай увидел красную, низкую, странную лисицу, которая, распушив трубу, торопливо неслась по зеленым. Собаки стали спеть к ней. Вот приблизились, вот кругами стала она вилять между ними, все чаще и чаще делая эти круги и обводя вокруг себя пушистой трубой (хвостом); и вот налетела чья-то белая собака, и вслед за ней черная, и все смешалось, и звездой, врозь расставив зады, чуть колеблясь, стали собаки. К собакам подскакали два охотника: один в красной шапке, другой, чужой, в зеленом кафтане.

«Что это такое? – подумал Николай. – Откуда взялся этот охотник! Это не дядюшкин».

Охотники отбили лисицу и долго, не тороча, стояли пешие. Около них на чумбурах стояли лошади с своими выступами седел и лежали собаки. Охотники махали руками и что-то делали с лисицей. Оттуда же раздался звук рога – условленный сигнал драки.

– Это илагинский охотник что-то с нашим Иваном бунтует, – сказал стремянный Николай.

Николай послал стремянного подзвать к себе сестру и Петю и шагом поехал к тому месту, где доезжачие собирали гончих. Несколько охотников поскакало к месту драки.



Николай, слезши с лошади, остановился подле гончих с подъехавшими Наташей и Петей, ожидая сведений о том, чем кончится дело. Из-за опушки выехал дравшийся охотник с лисицей в тороках и подъехал к молодому барину. Он издалека снял шапку и старался говорить почтительно; но он был бледен, задыхался, и лицо его было злобно. Один глаз у него был подбит, но он, вероятно, и не знал этого.

– Что у вас там было? – спросил Николай.

– Как же, из-под наших гончих он травить будет! Да и сука-то моя мышастая поймала. Поди, судись! За лисицу хватает! Я его лисицей ну катать. Отдай, в тороках. А этого хочешь? – говорил охотник, указывая на кинжал и, вероятно, воображая, что он все еще говорит с своим врагом.

Николай, не разговаривая с охотником, попросил сестру и Петю подождать его и поехал на то место, где была эта враждебная илагинская охота.

Охотник-победитель въехал в толпу охотников и там, окруженный сочувствующими любопытными, рассказывал свой подвиг.

Дело было в том, что Илагин, с которым Ростовы были в ссоре и процессе, охотился в местах, по обычаю принадлежавших Ростовым, и теперь как будто нарочно велел подъехать к острову, где охотились Ростовы, и позволил травить своему охотнику из-под чужих гончих.

Николай никогда не видал Илагина, но, как и всегда в своих суждениях и чувствах не зная середины, по слухам о буйстве и своеволии этого помещика, всей душой ненавидел его и считал своим злейшим врагом. Он озлобленно-взволнованный ехал теперь к нему, крепко сжимая арапник в руке, в полной готовности на самые решительные и опасные действия против своего врага.

Едва он выехал за уступ леса, как он увидел подвигающегося ему навстречу толстого барина в бобровом картузе, на прекрасной вороной лошади, сопровождаемого двумя стремянными.

Вместо врага Николай нашел в Илагине представительного, учтивого барина, особенно желавшего познакомиться с молодым графом. Подъехав к Ростову, Илагин приподнял бобровый картуз и сказал, что очень жалеет о том, что случилось; что велит наказать охотника, позволившего себе травить из-под чужих собак, просил графа быть знакомым и предлагал ему свои места для охоты.

Наташа, боявшаяся, что брат ее наделает что-нибудь ужасное, в волнении ехала недалеко за ним. Увидав, что враги дружелюбно раскланиваются, она подъехала к ним. Илагин еще выше приподнял свой бобровый картуз перед Наташей и, приятно улыбнувшись, сказал, что графиня представляет Диану и по страсти к охоте и по красоте своей, про которую он много слышал.

Илагин, чтобы загладить вину своего охотника, настоятельно просил Ростова пройти в его угорь, который был в версте, который он берег для себя и в котором было, по его словам, насыпано зайцев. Николай согласился, и охота, еще вдвое увеличившаяся, тронулась дальше.

Идти до илагинского утора надо было полями. Охотники разровнялись. Господа ехали вместе. Дядюшка, Ростов, Илагин поглядывали тайком на чужих собак, стараясь, чтобы другие этого не заметили, и с беспокойством отыскивали между этими собаками соперниц своим собакам.

Ростова особенно поразила своею красотой небольшая чистопсовая, узенькая, но с стальными мышцами, тоненькая щипцом (мордой) и навывкате черными глазами, краснопегая сучка в своре Илагина. Он слышал про резвость илагинских собак и в этой красавице сучке видел соперницу своей Милке.

В середине степенного разговора об урожае нынешнего года, который завел Илагин, Николай указал ему на его красно-пегую суку.

– Хороша у вас эта сучка! – сказал он небрежным тоном. – Резва?

– Эта? Да, это добрая собака, ловит, – равнодушным голосом сказал Илагин про свою красно-пегую Ерзу, за которую он год тому назад отдал соседу три семьи дворовых. – Так и у вас, граф, умолотом не хвалятся? – продолжал он начатый разговор. И, считая учтивым отплатить тем же молодому графу, Илагин осмотрел его собак и выбрал Милку, бросившуюся ему в глаза своею шириной.

– Хороша у вас эта черно-пегая – ладна! – сказал он.

– Да, ничего, скачет, – отвечал Николай. «Вот только бы побежал в поле русак матерый, я бы тебе показал, какая это собака!» – подумал он. И, обернувшись к стремянному, сказал, что даст рубль тому из охотников, кто подзрит, то есть найдет лежачего зайца.

– Я не понимаю, – продолжал Илагин, – как другие охотники завистливы на зверя и на собак. Я вам скажу про себя, граф. Меня веселит, знаете, проехаться; вот съедешь с такой компанией... уже чего же лучше (он снял опять свой бобровый картуз перед Наташей); а это чтобы шкуры считать, сколько привез, – мне все равно!

– Ну да.

– Или чтобы мне обидно было, что чужая собака поймает, а не моя, – мне только бы полюбоваться на травлю, не так ли, граф? Потом я сужу...

– Ату – его! – послышался в это время протяжный крик одного из остановившихся борзятников. Он стоял на полубугре жнивья, подняв арапник, и еще раз повторил протяжно: – А-ту – его! (Звук этот и поднятый арапник означали то, что он видит перед собой лежащего зайца.)

– А, подозрел, кажется, – сказал небрежно Илагин. – Что же, потравим, граф.

– Да, подъехать надо... да что ж, вместе? – отвечал Николай, вглядываясь в Ерзу и в красного Ругая дядюшки, в двух своих соперников, с которыми еще ни разу ему не удалось поравнять своих собак. «Ну что как с ушей оборвут мою Милку!» – думал он, рядом с дядюшкой и Илагиным подвигаясь к зайцу.

– Матерый? – спрашивал Илагин, подвигаясь к подозрившему охотнику и не без волнения оглядываясь и подсвистывая Ерзу...

– А вы, Михаил Никанорыч? – обратился он к дядюшке. Дядюшка ехал, насупившись.

– Что мне соваться! Ведь ваши – чистое дело марш! – по деревне за собаку плачены, ваши тысячные. Вы померяйте своих, а я посмотрю!

– Ругай! На, на! – крикнул он. – Ругаюшка! – прибавил он, невольно этим уменьшительным выражая свою нежность и надежду, возлагаемую на этого красного кобеля. Наташа видела и чувствовала скрываемое этими двумя стариками и ее братом волнение и сама волновалась.

Охотник на полуторке стоял с поднятым арапником, господа шагом подъезжали к нему: гончие, шедшие на самом горизонте, заворачивали прочь от зайца; охотники, не господа, тоже отъезжали. Все двигалось медленно и степенно.

– Куда головой лежит? – спросил Николай, подъезжая шагов на сто к подозрившему охотнику. Но не успел еще охотник отвечать, как русак, чуя мороз к завтрашнему утру, не вылежал и вскочил. Стая гончих, на смычках, с ревом понеслась под гору за зайцем; со всех сторон борзые, не бывшие на сворах, бросились на гончих и к зайцу. Все эти медленно двигавшиеся охотники-выжлятники с криком: «стой», сбивая собак, борзятники с криком: «ату!», направляя собак, – поскакали по полю. Спокойный Илагин, Николай, Наташа и дядюшка летели, сами не зная, как и куда, видя только собак и зайца и боясь только потерять хоть на мгновение из вида ход травли. Заяц попался матерый и резвый. Вскочив, он не тотчас же поскакал, а повел ушами, прислушиваясь к крику и топоту, раздававшемуся вдруг со всех сторон. Он прыгнул раз десять не быстро, подпуская к себе собак, и, наконец, выбрав направление и поняв опасность, приложил уши и понесся во все ноги. Он лежал на жнивьях, но впереди были зеленыя, по которым было топко. Две собаки подозрившего охотника, бывшие ближе всех, первые воззрились и заложились за зайцем; но еще далеко не подвинулись к нему, как из-за них вылетела илагинская красно-пегая Ерза, приблизилась на собаку расстояния, с страшной быстротой надала, нацелившись на хвост зайца, и, думая, что она схватила его, покатила кубарем. Заяц выгнул спину и надал еще шибче. Из-за Ерзы вынеслась широкозадая черно-пегая Милка и быстро стала спеть к зайцу.

– Милушка, матушка! – послышался торжествующий крик Николая. Казалось, сейчас ударит Милка и подхватит зайца, но она догнала и пронеслась. Русак отсел. Опять надела красавица Ерза и над самым хвостом русака повисла, как будто примеряясь, как бы не ошибиться теперь, схватить за заднюю ляжку.



– Ерзынька! сестрица! – послышался плачущий, не свой голос Илагина. Ерза не вняла его мольбам. В тот самый момент, как надо было ждать, что она схватит русака, он вихнул и выкатил на рубеж между зелеными и жнивьем. Опять Ерза и Милка, как дышловая пара, выровнялись и стали спеть к зайцу; на рубеже русаку было легче, собаки не так быстро приближались к нему.

– Ругай! Ругаюшка! Чистое дело марш! – закричал в это время еще новый голос, и Ругай, красный горбатый кобель дядюшки, вытягиваясь и выгибая спину, сравнялся с первыми двумя собаками, выдвинулся из-за них, надал со страшным самоотвержением уже над самым зайцем, сбил его с рубежа на зеленя, еще злей надал другой раз по грязным зеленым, утопая по колена, и только видно было, как он кубарем, пачкая спину в грязь, покатился с зайцем. Звезда собак окружила его. Через минуту все стояли около столпившихся собак. Один счастливый дядюшка слез и отпазанчил. Потряхивая зайца, чтобы стекала кровь, он тревожно оглядывался, бегая глазами, не находя положения рукам и ногам, и говорил, сам не зная с кем и что. «Вот это дело марш... вот собак... вот вытянул всех, и тысячных и рублевых – чистое дело марш!» – говорил он, задыхаясь и злобно оглядываясь, как будто ругая кого-то, как будто все были его враги, все его обижали и только теперь, наконец, ему удалось оправдаться. «Вот вам и тысячные – чистое дело марш!»

– Ругай, на пазанку! – говорил он, кидая отрезанную лапку с налипшей землей. – Заслужил, чистое дело марш!

– Она вымахалась, три угонки дала одна, – говорил Николай, тоже не слушая никого и не заботясь о том, слушают его или нет.

– Да это что же впоперечь! – говорил илагинский стремянный.

– Да как осеклась, так с угонки всякая дворняжка поймает, – говорил в то же время Плагин, красный, насилу переводивший дух от скачки и волнения. В то же время Наташа, не переводя дух, радостно и восторженно визжала так пронзительно, что в ушах звенело. Она этим визгом выражала все то, что выражали и другие охотники своим единовременным разговором. И визг этот был так странен, что она сама должна бы была стыдиться этого дикого визга и все бы должны были удивиться ему, ежели бы это было в другое время. Дядюшка сам второчил русака, ловко и бойко перекинул его через зад лошади, как бы упрекая всех этим перекидыванием, и с таким видом, что он и говорить ни с кем не хочет, сел на своего каурого и поехал прочь. Все, кроме его, грустные и оскорбленные, разъехались и только долго после могли прийти в прежнее притворство равнодушия. Долго еще они поглядывали на красного

Ругая, который с испачканной грязью горбатой спиной, побрякивая железкой, с спокойным видом победителя шел рысцой за ногами лошади дядюшки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.